

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин

Совсем о другом.

Из десятков тысяч маленьких островов Капри удалось, что называется, выбиться в люди. Он известен, как, скажем, остров Святой Елены или Васильевский. Он сделал себе карьеру прежде всего на воде. География учит, что островом называется часть суши, окруженная со всех сторон водой. Но Капри сумел опровергнуть эту геоаксиому, Капри окружен вовсе не водой, а скорее всего, это напоминает густо разведенную синьку. Женщины на Капри синят белье, полоская его прямо в море. При этом Капри старается показать, что он нисколько не зависит от моря. Он, как только мог, вздыбился, поднялся над водой неприступными отвесными обрывами. С великим трудом удалось выскрести из него узенькую полоску для пристани и пляжа. Прибрежные дома – это продолжение скал, и хозяевам трудно объяснить, почему они красят только верхнюю часть фасада. Здесь самоубийцы могут прыгать даже с первого этажа. В брюхе у Капри расположился знаменитый Лазурный грот. Огромная пещера, описанная, рассказанная поколениями восторженных туристов. Ничего более красивого и пошлого в своей жизни я не видел. Поэтому я так высоко оценил мужество Аси: она вытащила блокнот и стала описывать Лазурный грот, под своды которого въехала наша лодка. Я следил, как бегала по бумаге ее рука с шариковой ручкой, и косился по сторонам, сверяя запись с пейзажем: «Вершина и края пещеры теряются во мраке. Единственное слабое освещение дает вода волшебной голубизны. Свет тут призрачный. Как будто где-то там, в глубине воды, спрятаны лампы. Но вода светится не только изнутри. Я набрала ее в пригоршню, и капли, падая с рук, тоже светились. Они падали, как бирюзовые камешки. Лазоревое сияние лилось с весел нашей лодки и пропадало вблизи от нее. Синеватый мрак сгущался во тьму. Мы плывем туда, и вместе с нами, вернее под нами, перемещается лазурное сияние. На освещенной снизу воде видна черная тень нашей лодки. В гроте тихо, мягкий плотный воздух глушит все звуки. Мы переговариваемся шепотом, потрясенные этим чудом природы. Рядом со мной сидел Д.Г., глаза его сияли...»

Я скромно отвернулся. Кроме моих глаз, все остальное было правильно. А может, и мои глаза тоже, поскольку я их не видел. В том-то и ужас, что Ася была точна, и не ее вина, что вся эта красота, попадая на бумагу, исторгаемая в виде восторженных восклицаний наших спутников, превращалась в стопроцентную неразведенную пошлость.

Итак, отведя свои сияющие глаза, я обратил их на нашего лодочника, который, разумеется, был старым морщинистым итальянцем – под стать этому гроту, он то и дело подымал весла так, чтобы с них падала бирюза, и тут я заметил в глазах лодочника скучищу, тоску прямо-таки безвыходную, граничащую с отвращением. И вдруг я понял его и посочувствовал. Изюм дня в день, годами он вынужден был выслушивать одинаково умиленные возгласы туристов, наблюдать одинаково сияющее выражение их глаз и любоваться вместе с ними этим сладостным гротом. Это все равно что питаться одним вареньем. Такая красота не только невыразима, но и невозможна для ежедневного потребления. Она – слишком. Она роскошна до безвкусицы. Поэтому, когда в грот въехала одна из наших лодок и какой-то затейник пронзительным голосом закричал: «А ну-ка споем!» – и, фальшивя, затянул «Раскинулось море широко», мне как-то стало легче. Своды грота, отражая его и без того пронзительный голос, почему-то усиливали лишь его фальшь. Ася возмущенно фыркнула, она потребовала, чтобы мы прекратили эту пошлость, это кощунство. Мы подъехали к затейнику. Возле него столпились и другие лодки. Затейник был цыпляче-веселый паренек, который, очевидно, иначе, чем через пение, не умел выражать свой восторг. Несмотря на это, большинство сходилось на том, что его надо утопить. Однако портить воды Лазурного грота запрещалось, и решено было исполнить приговор позже. Красота грота размягчила сердца, и вскоре многие были готовы помиловать затейника. Вернувшись на пристань в прелестную бухту Марина-Гранде, мы застали на берегу толпу лодочников-каприйцев. Затейник наш стоял на камне и самозабвенно заставлял их разучивать песню «Санта Лючия». Его утопили тут же на глазах местных жителей. Еще долго со дна залива поднимались пузыри – очевидно, и под водой он продолжал петь.

Ася была довольна и записала в своем блокноте: «Чарующая красота Капри требует культуры восприятия. Конечно, красота эта нам чужда, но мы должны учиться понимать ее. Меня возмутил случай с З., когда он запел в гроте, но зато как отрадно было видеть общее негодование наших людей. Это о многом говорит».

Такова была эпитафия на бедного затейника.

Вскоре после путешествия Ася выпустила книжку своих впечатлений, названную скромно «С блокнотом вокруг Европы». Кроме Аси у нас было еще несколько журналистов, и каждый из них вел записи и публиковал их. Таким образом, наше путешествие было описано многократно, в различных изданиях и вариантах массовыми тиражами, с иллюстрациями и без. Недавно я встретил Асю в Москве и попросил у нее разрешения привести некоторые описания из ее книжки. Она спросила зачем. Я сказал, что решил написать про нашу поездку. Ася посмотрела на меня с сожалением – через столько лет, кому это интересно, да еще после ее книжки и других книжек, и кроме того – Италия, Франция, никто в наше время не пишет про такие страны.

– Италия, Франция, – сказала она, – нашли экзотику. Нашли чем удивить. Да все уже побывали там.

– Как все? – удивился я.

– Ну конечно, все.

– А если и все, что с того?

– Так о чем же вы будете писать? Они же всё это видели, всё знают. Что вы им можете сообщить, какие сведения? Какой новый поток информации получают они? Нет, послушайте моего совета: сейчас в этом жанре котируются записки совсем о других странах. Читатель вырос, его интересует Гренландия, Мексика. – Она озабоченно вздохнула: – Да, не так-то много стран остается. Такие, например, как Цейлон, на худой конец Норвегия. Впрочем, про Европу уже не читается. Например, я уезжаю в Японию – и то не уверена. А вы про Италию. Это все равно что про Болгарию. Уверю вас.

Поэтому она разрешила мне использовать ее книжку. Описание Лазурного грота было там напечатано так, как она записывала, почти ничего ей не пришлось править – вот что значит сила впечатления, недаром Ася всегда советовала мне записывать тут же, на ходу, ничего не откладывая. И действительно, оказалось, я начисто забыл многие важные сведения и факты, касающиеся того же Капри.

– Но знаете, дорогая Ася, – сказал я, прощаясь с ней, – меня интересует лишь то, что осталось в моей памяти. Что остается спустя много лет? Не воспоминания, а именно образ Капри и образ Неаполя и Афин и вас.

– Увы, – она погрустнула, – я весила тогда пятьдесят семь кило.

...Так что же осталось? Остались городок, расположенный в седловине скалы, составляющей остров, и извилистое шоссе, по которому мы туда долго добирались. Казалось, если выпрямить это шоссе, его хватит на всю Италию. Остался центр города – маленькая площадь, превращенная в кафе, плотно заставленное столиками; неубывающая пестрая разноязычная толпа кипит в этом каменном горшке, едят выловленную внизу, в море, рыбу, запивают капринским винцом. Туристы со всех концов земли; рядом с нами папа, мама, дочка – англичане, все трое в трусиках, но у мамы с дочкой есть еще нечто вроде бюстгальтера, на плечах болтаются небесно-голубые ласты, маски. фешенебельность Капри заключается в тщательно сохраняемой простонародности этого местечка. Родовые аристократы и безродные миллионеры бродят в трусиках, как и последний лаццарони. Оборванцы сидят на ступеньках старой часовни рядом с американскими стилистами, создавая игривую, щекощущую нервы иллюзию полнейшего рая, где все равноправны, всех одинаково ласкает солнце и нет шикарного авто и драгоценностей.

Вся эта толпа и эта площадь запомнились мне потому, что я долго не мог выбраться отсюда. У меня было дело, я был единственный из всех туристов, у кого было настоящее серьезнейшее дело на этом острове. Состояло оно в том, что туфли мои жали ужаснейшим образом. В России эти туфли прикинулись вполне подходящими, модными, с узким носиком, но стоило переехать границу – и они начали становиться все теснее. Где-то в Греции я дошел до того, что надрезал их лезвием бритвы, в самых, казалось, тесных местах. Это не помогло. Тесность передвинулась к носу, стало ясно, что нужны радикальные меры, – кое-кто предлагал мне вообще отрезать всю верхнюю часть, оставить подошву, может быть, это поможет. В Греции, в которой все есть, подходящих туфель не оказалось, то есть, наверное, они были, но когда мы с Асей и другими сердобольными моими спутницами вышли из обувного магазина, в руках у меня оказалась почему-то коробка с женскими туфлями,

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru купленными, как они потом объяснили, для моей жены. Позже я пытался понять, как это произошло, и ничего не мог уяснить. Между тем мучения мои усиливались. Плохо, что я не мог прихрамывать на какую-либо ногу, потому как обе туфли жали с одинаковой силой. Дошло до того, что я заявил капитану, что в Италии я на берег не сойду, останусь на пароходе. Это было, оказывается, грубым нарушением правил. Я не имел права оставаться на пароходе, так же как не имел права оставаться в Италии, и не мог пойти босиком по Италии.

Вот какое у меня было дело на Капри. Вот почему я с такой ненавистью пробирался через толпы босых миллионеров, туда, в тесные улочки, шумные, полутемные, напоминающие коридоры учреждения перед обеденным перерывом. Вплотную, друг за другом, тянулись лавочки, вывернутые наружу со своими товарами, так что внутрь лавочки заглядывать не имело смысла. Все, что есть примечательного, развешано на витринах, щитах, стоит на лотках. Главным образом это сувениры. Сувениры состоят из открыток, шкатулок, обклеенных ракушками, бутылок вина, кошельков, ножичков, палок – обычного курортного барахла, но вместо надписи «Привет из Сочи» тут «Привет с Капри». Любой предмет может быть превращен в сувенир, стоит сделать на нем такую надпись.

Миновав сувенирное буйство, я нашел наконец обувную лавчонку, где страдающий от кризиса хозяин вместе с женой, братом, тещей и четырьмя детьми доказал, что человеку с моим вкусом следует приобрести сандалеты, сделанные по фасону тех сандалет, в каких расхаживал по Капри римский император Тиберий, который в свое время поселился здесь в силу своей мрачности и подозрительности и предавался утонченному разврату. Боже, какие это были очаровательные сандалеты, они были такие большие, что я мог внутри них передвигаться в любом направлении – впоследствии я во время работы, задумавшись, шагал из конца в конец этих сандалет. Ничто так не влияет на самочувствие человека, как обувь. Она определяет его отношения с миром и взгляды на действительность. Просторная обувь делает нас терпимыми и благодушными. Понятно, что в таких сандалетах Тиберий мог предаваться чему угодно.

Когда я вышел из лавочки, мир стал еще прекраснее, я увидел, как много вокруг красивых женщин, какие они загорелые, какие у них огромные итальянские глаза, и туристы тоже стали симпатичными. Свои ненавистные изрезанные туфли я незаметно поставил возле одной из сувенирных лавочек и вернулся на площадь. Сандалеты мои щелкали по горячей мостовой, я пританцовывал и пел «Раскинулось море широко». Любопытно, что последующий час, проведенный в блаженном состоянии, ничем не запечатлелся в памяти. Я обнаруживаю себя лишь под руку с каким-то огромным белокурым шведом, мы озабоченно разыскивали башню с часами. Швед держал путеводитель, где отмечал птичками осмотренные достопримечательности. Ему удалось найти все, кроме башни с часами. Естественно, что он нервничал, не мог же он вернуться к себе в Швецию без этой башни, и я прекрасно понимал его, потому что хуже нет недосчитаться какой-нибудь достопримечательности, вроде как план не выполнен, недодали положенного, нету завершенности, может, в этой башне как раз и было то самое, и ведь, главное, могут спросить: «А видели вы?..» – «Нет, не видел.» – «Да как же вы не видели!» – и пойдет, и пойдет, и окажется, что и море, и Лазурный грот, и площади – все, все насмарку, все ничто без этой распроклятой башни.

Но если мне везет, так остановить это невозможно. Раздался бой часов, я прислушался, поднял голову и обнаружил, что мы стоим под башней, часы на ней отбивают соответствующее капринское время, которое отличается от всех иных времен своей быстротечностью. Швед обрадованно поставил последнюю птичку-галочку, мы похлопали друг друга по плечу, и я увидел, что среди сувениров, которыми было увешано тело моего шведа, – среди соломенных шляп, плетеных фляжек, коробочек, медальонов, розовых раковин, – из сумки его торчали мои туфли со свежей надписью «Привет с Капри». Шведу было приятно мое изумление, поскольку он считал свою покупку крупной удачей, таких туфель больше нет, особенно ему нравились их фантастические вырезы, надрезы – «типично местный орнамент», как он выразился.

Возвращались мы на старинном пароходике, два итальянских старичка пели неаполитанские песни, все выглядело как в нехитрых рекламных фильмах: ярко-голубое небо («как они добиваются такого цвета?»), райский остров, поднимающийся из ультрамариновой воды («А вот нарисовать такой – не поверят»), расстояние считало излишнюю красоту, оставались скалы, отмели, каменные уступы домов, рыбацьи шхуны, солнце, белая пена прибоя да некоторая грусть,

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru легкая, в самый раз, и я почему-то подумал: хорошо, что Ленин видел это, хорошо, что в нелегкой суровой его эмигрантской жизни были такие же часы отрешенного любования и восторга чудом Капри, такое же небо, такой же пароходик, теплый йодистых воздух... Снять бы цветной фильм, где были бы молодой Ленин и Горький, и они купались бы в этой синей воде, хохотали, брызгались, и рыбаки на пристани понятия бы еще не имели, что это Ленин, а просто с удовольствием смотрели бы на этих двух русских, крепких, веселых, которые плывут в этой сини по-волжски, саженками...

Капри таял, отдалялся и становился строкой некоего путеводителя, строкой, помеченной птичкой. Кто мог знать, что через много лет ни с того ни с сего он вынырнет из забвения и я с интересом стану разглядывать – что же осталось в моей памяти.

Неожиданное утро

Почему мы не издаем путеводителей? Тысячи наших туристов путешествуют по всем странам мира. Им нужны путеводители. Хороший путеводитель экономит время, заменяет сразу и гида, и переводчика. Почему мы не имеем путеводителей с иллюстрациями, с очерками по архитектуре, промышленности, истории?

Будь у меня путеводитель по Варнемюнде, я бы знал, куда отправиться этим утром. Но у меня не было путеводителя, и я шел куда глаза глядят. Стояла кирха, а я понятия не имел, что это – образец ранней готики или, наоборот, совсем поздней. Проходил я мимо всяких домов, и может, в одном из них жил какой-нибудь знаменитый немец и надо было остановиться и рассматривать этот дом. И вообще вполне возможно, что я сворачивал совсем не туда и мог не видеть каких-либо примечательных исторических мест.

Солнце высвечивало черепицу и плоские окна узких каменных домиков. И улицы были тоже узкие, с тротуарами на одного человека. По мостовой пять женщин катили огромные коляски, в каждой сидело по пять малышей. Процессия двигалась с пискотом, скрипотом. Это ясли совершали утреннюю прогулку.

Каждый поворот и перекресток таил неожиданности. Я старался угадать, что откроется передо мной за углом. На низкой тележке перед магазином лежал убитый олень. Из магазина вышел мясник. Он ущипнул мохнатую тушу, взял оленя за рога и потащил в магазин.

На улицах хозяйки с кошелками. Открываются двери, звенят привязанные к ним колокольчики. У дверей магазинов черные грифельные доски. Женщины останавливаются, читают магазинные новости – что привезли, почем.

Влево вела косая, ничем не примечательная, горбатая улочка.

Она поднималась в гору, и на ее близком горизонте, совсем рядом, колыхалась верхушка мачты. Это было удивительно, как будто улица плыла.

Я свернул туда. И с каждым шагом мачта вырастала, рядом с нею показались кончики реи, и они тоже поднимались навстречу. И еще мачты, и еще. По стеклам, по серому камню стен заструился зыбкий блеск; еще шаг, последний шаг – и передо мной распахнулись сияющие глаза реки. И вправо, и влево вдоль каменной набережной десятки, а может, сотни парусников. Лес мачт. Как у нас где-нибудь на Карельском перешейке среди корабельных сосен. Большие и малые баркасы, и шаланды, и двухмачтовые шхуны, и крохотные тендера. Старинные, черносмолевые и новенькие, блистающие полированным деревом и медью поручней.

Хлопали сходни. Рыбаки сносили на берег тяжелые сети, полные шевелящейся рыбы. Видно, флотилия только что вернулась с моря. Я спустился к причалу. Двое мужчин – в них безошибочно можно было определить отца и сына – и молодая женщина выпутывали из сетей рыбу и кидали ее в корзину. Все трое были в высоких резиновых сапогах и клеенчатых блестящих куртках. Двигались они устало и медленно, как и должно было после удачного лова. С тяжелым плеском падали плоские камбалы и лезвия сельдей, треска, крупная салака. Старуха с мальчиком подошли к перилам, поздравили старшего с возвращением. Мальчик не мигая смотрел на рыбаков. Глаза его и раскрытые пересохшие губы выражали жгучую зависть. Рыба

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru сверкала в воздухе и плюхалась в корзину. Причалил катер рыбзавода, и я помог втащить корзину на катер. С баркаса принесли новые сети, полные рыбы, а пустые сети развесили на перилах. И это делали всюду. Солнце просвечивало розовые нити капрона, и вскоре вся набережная была задрапирована тонким поблескивающим розовым кружевом. Как будто начинался какой-то удивительный праздник. А с баркасов все несли сети, от набережной отваливали тяжело груженные катера и шли к рыбозаводу, взблескивала летящая рыба, искрилось все это свежее, прохладное утро.

Несмотря на крупные ячеи сетей, попадалась невесть как затесавшаяся молодь. Старый рыбак заботливо выбрасывал живую мелочь в реку. При этом он что-то бурчал под нос, словно выговаривал этой непутевой, трепыхавшейся салаке.

Потом невестка и сын прибирали на баркасе, а мы со стариком закурили. Он стоял, широко расставив ноги, чешуя серебристо сверкала на его руке. На рассвете в море их немного потрепало. Одну сеть чуть не утерjali. Попалась красная камбала. Мы поговорили насчет цвета камбалы, насчет желтых, и бурых, и пятнистых камбал с черными плавниками. На мое счастье, старик говорил медленно, скажет слово и помолчит, иначе бы мне его не понять. Но вообще я давно убедился, что достаточно знать двести, триста слов – и можно говорить на любую тему, если, конечно, люди хотят понять друг друга.

Через час мне надо было уезжать. Я бы мог еще успеть обойти хотя бы часть Варнемюнде. Но мне не хотелось уходить с набережной. В других городах я всегда беспокоился, как бы не пропустить что-нибудь важное. Мне всегда казалось: а вдруг где-то рядом в это время происходят более интересные вещи и я чего-то не увижу.

Так было со мной в Ростове, и в Лейпциге, и еще в десятке городов, которые мы проезжали, а еще раньше в Афинах, и в Пирее, и в Гавре. Но тут я никуда не торопился.

Самое важное происходило здесь, на набережной.

Мы беседовали о ловле камбалы, рыбак стоял, расставив ноги так, как будто он стоял в самом центре Варнемюнде, а может, и всей республики, а кругом происходил праздник, посвященный ему: светилась набережная, завешанная розовыми неводами, рыжие громады корабельных корпусов темнели вдаль на верфи, на них горели созвездия сварщиков.

Я видел разные праздники, но это был тоже праздник, и, может быть, еще более праздничный потому, что он совершался без музыки, без флагов, праздник по ощущению. Такие праздники приходят внезапно, как подарок, без даты и без повода, просто чистое холодное утро, тяжесть в руках и короткий разговор с незнакомыми людьми, которых потом часто вспоминаешь.

А потом мы распрощались, и рыбаки пошли домой. Прилипшая чешуя сверкала на их куртках, как кольчуга. Они шли усталые, медленно переставляя ноги, и мне вспоминались наши рыбаки на Ильмене.

Я смотрел вслед рыбакам с завистью – они уже заработали и это утро, и весь предстоящий день.

В гостинице переводчица спросила меня, где я был. «На набережной? Но что ж там интересного? Вы не видели центра города, и нового ресторана, и ратуши.» Она перечислила много мест, которых я не видел.

Согласно расписанию надо было уезжать, и она горевала, что мне не удалось осмотреть Варнемюнде.

«Если бы у вас был путеводитель...» – сказала она.

И вот тогда я подумал о путеводителях. Да, это, наверное, весьма полезная штука, но все ж где-то в тексте там хорошо бы оставить две-три чистые страницы. «Вы выходите рано утром...» – и дальше белые листы, ничего, неизвестность. А дальше опять, пожалуйста, – осмотры памятников, и музей, и история, и перспективы.

Могила Баха

Утром я пришел в церковь Святого Фомы посмотреть на могилу Баха. В соборе не было ни души. Играл орган, наверное, органист репетировал.

Собор был огромный, я ходил по притворам, там лежали могильные камни священников, епископов, князей, герцогов. Могила Баха оказалась почти посередине собора, совсем отдельно. Ее перенесли сюда недавно. Лежала чугунная доска с надписью: «Иоганн Себастьян Бах. 1685–1750».

Часть этого маленького тире, в котором заключена вся трагическая жизнь Баха, занимала служба в соборе. Двадцать семь лет, изо дня в день, он приходил сюда и играл на органе.

На могиле лежал маленький букетик свежих гвоздик. Когда Бах был жив, все эти герцоги и епископы не ставили его ни в грош: подумаешь, какой-то жалкий органист, без орденов и званий, с пустым кошельком. И когда он умер, тоже еще десятки лет никто не вспоминал о нем. И все эти знатные особы были уверены, что они-то и есть исторические личности, слава и гордость страны. А теперь никто не помнит о них, и нужно рыться черт знает в каких архивах, чтобы узнать, кто из них что делал.

Я сел на скамейку рядом с могилой, чтобы послушать орган. Я подумал о том, как странно, что поколения за поколениями эти сиятельные ничтожества сходили в могилы, так ничего и не поняв, и если бы они сейчас ожили, то были бы поражены, что никто о них ничего не помнит, зато все в мире знают имя этого нищего музыканта, который лежит здесь среди них, и все приходят в эту церковь ради него.

Но вся штука в том, что они никогда не узнают об этом, и всю свою жизнь они прожили, уверенные в своем величии.

Меня разбирала досада, и было смешно и грустно, потому что такое творилось не с одним Бахом и, наверное, повторится и сейчас.

Трубы органа гремели, перекликались, повторяя без конца одну и ту же простейшую тему и всякий раз находя в ней что-то другое, более глубокое. Уже вроде извлечено все, но нет, там есть еще, и вот еще новое, и так, пока не убеждаешься в неисчерпаемости этой самой простоты. Таков человек, такова жизнь, такова материя с уходящей невесть куда сложностью ее элементарных частиц.

Как никто другой, Бах современен: возможно, он один из наиболее передовых композиторов нашего времени, его музыка словно обнажает сущность вещей, и чувств, и сегодняшних размышлений. В ней звучат неустанные поиски человека, идущего в глубь Вселенной, туда, где он прикасается к первоосновам жизни, чтобы (в который раз!) оказалось, что это всего лишь граница нового бескрайнего мира.

Какие бы ни строить догадки, все же остается тайной – каким образом этот старый немецкий музыкант, работавший двести с лишним лет назад, открывает нам сегодняшний день, как он не только пережил, но и опередил стольких гениальных композиторов двух веков? В чем секрет долголетия и молодости его музыки? Почему одно произведение искусства живет годы, другое – столетия? Талант? Гениальность? Но ведь сами по себе это всего лишь слова, обозначения, они ничего не могут объяснить.

Может быть, и не надо стараться объяснить и узнать. Не так-то уж много осталось у человека секретов.

Вскоре я перестал философствовать, я просто слушал.

Баха надо, конечно, исполнять на органе, а орган надо слушать в соборе. У нас в филармонии тоже есть орган, но там это не то. Мне трудно объяснить, в чем тут дело. Может быть, тут какой-то секрет акустики. В соборе весь воздух дрожал, звучало все здание, вибрировали стены, могильные плиты, звуки органа пронизывали меня, я ощущал их физически – кожей, сердцем, – казалось, мое тело, весь я состою из этой музыки.

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Справедливо, что могила музыканта была тут же, перед его органом. В пустом соборе музыка исполнялась словно специально для него одного.

Когда музыка смолкла, я обернулся и посмотрел на органиста. Там, наверху, где когда-то сидел Бах, спиной ко мне сидела девушка. Удивленный, я стоял и смотрел на нее. Она взглянула в зеркало, висевшее над ее головой, улыбнулась и кивнула мне. Я тоже улыбнулся и неохотно вышел на улицу.

Хемингуэй

...И в этом местечке тоже никто не знал, где его дом. Тогда мы зашли в придорожный бар.

– О, как же, он часто бывал у нас, – сказал бармен. – Видите, как у нас весело. Он предпочитал махиту. Хотите попробовать?

Раскрасневшиеся парни пели какую-то старую испанскую песню и притоптывали ногами, стараясь перекричать радиолу. В толстых стаканах плавали зеленые листки махиты. От парней пахло рыбой. Кто-то играл на губной гармошке.

Когда я представил себе, что еще недавно он сидел здесь, среди этого бедлама, и пел вместе с рыбаками и хлопал их по плечам и они тоже хлопали его по плечу, то бар показался мне особенным. Но, слушая, как бармен ничего толком не может рассказать, я понял, что все это вранье и никогда он здесь не бывал, просто его имя используют для рекламы, и сразу этот бар стал обычным грязным и шумным баром, каких десятки в окрестностях Гаваны.

Пока наши выясняли дорогу, я забавлялся этой игрой: бар становился то особенным, то обычным, как будто что-то менялось в нем.

Затем мы еще час плутали по соседним поселкам, пока нашли тот, где он жил.

На деревянных, грубо окрашенных воротах еще висела белая доска. По-английски и по-испански было написано: «Визиты без предварительной договоренности с хозяином запрещены».

А договариваться уже было не с кем. Ворота были закрыты, и повсюду тянулся забор из колючей проволоки, совершенно необычный здесь забор, напоминающий заграждения на переднем крае.

Сквозь проволоку можно было видеть пустынную аллею, зеленый холм вдали и на нем белый трехэтажный дом под красной крышей.

Так и не достучавшись, мы отправились искать другой вход. Станный это был поселок. Рядом с этой виллой стояли лачуги, сколоченные из досок. Задняя сторона участка примыкала к поместью сбежавшего американского миллионера – теперь там разместились школа политработников, – а вдоль шоссе стояли скромные каменные коттеджи, окруженные крохотными садиками, и трудно было понять, почему он выбрал именно это, ничем не примечательное, местечко и прожил тут больше десяти лет.

В одном из двориков женщина развешивала белье. Мы спросили, не знает ли она, как иначе пройти к дому Хемингуэя.

– Как вы сказали, чей дом? – спросила она.

– Хе-мин-гуэя.

Это была уже немолодая женщина с добрыми глазами.

– Эрнеста Хемингуэя, – повторили мы. – Ну, знаете, писатель, знаменитый писатель.

Видно было, что она искренне хотела бы помочь нам.

– Не знаю, – смущенно сказала она.

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
– Господи, ну он еще написал тут «Старик и море», – сказал кто-то.

– Он лауреат Нобелевской премии, – сказал еще кто-то.

Она молчала.

Тогда мы стали показывать ей в сторону его дома – трехэтажный, на холме.

– А-а, так, значит, это тот сеньор, который недавно умер, – сказала она и вздохнула.

Пока ходили за сторожем, нас окружили мальчишки. Их набралось человек десять, они бесцеремонно допытывались, откуда мы приехали и зачем. Они тоже понятия не имели, что это за Хемингуэй.

– Погодите, не тот ли старик, который жил в этом доме? – сообразил наконец старший из них, ему было лет двенадцать.

– Какой старик? – удивились мы.

– А впрочем, – сказали мы, – он был с седой бородой.

– Ну конечно, – сказали мальчишки. – Папа! Его-то мы знали. Его все хорошо знали.

И только один, самый маленький, сказал:

– А я так первый раз слышу.

Молодой кубинский поэт Л. рассказал нам, как он познакомился с Хемингуэем в кабачке «Медео».

«Медео» – писательский, артистический кабачок в старой Гаване. Надо пройти по коридорчику сквозь уличный бар, и тогда попадешь в три маленькие комнаты. Там тесно, бедновато, голые столики, и все-таки уютней и свободней, чем во многих стилизованных барах и кабачках. Стены густо завешаны фотографиями поэтов, писателей, артистов, побывавших здесь. Кого тут только не найдешь! Гильен, Неруда, Леон, Карпантье, десятки знакомых и сотни незнакомых лиц – молодые поэты, и критики, и художники со всех стран Латинской Америки, и европейские писатели – Сартр, Саган и наш Сергей Смирнов, и Павлычко, и Гулям...

Каждый, кто приезжает в Гавану, приходит сюда, а каждый, кто приходит, должен оставить здесь что-то на память, и поэтому между фотографиями висят всевозможные сувениры – веера, открытки, сомбреро, значки, трости, а кто-то оставил даже ботинок. И всюду росписи, и чьи-то стихи, и рисунки.

Так вот, зайдя с приятелем в «Медео», Л. увидел за столиком Хемингуэя, который что-то писал.

Они подошли к нему, представились и сказали, что давно мечтали с ним познакомиться. Хемингуэй не поднял головы и продолжал писать. Они опять начали свое. Тогда он вскочил и заорал: какого черта они считают возможным лезть со своим знакомством к человеку, который работает, занят и знать никого не хочет!

Приятель Л. вспыхнул и тоже закричал: «Кто вы такой, чтобы так кричать на нас?»

Хемингуэй, недолго думая, сделал выпад левой, и парень полетел на пол.

Когда Л. привел приятеля в чувство, подошел хозяин и сказал, что сеньор Хемингуэй приглашает их к своему столику.

Они просидели с Хемингуэем несколько часов, а потом он сказал: «Вы славные ребята, приезжайте ко мне домой в субботу».

С тех пор они подружились и стали бывать у Хемингуэя.

Мне было интересно о Хемингуэе все: и что в спальне у него среди немногих книг постоянно лежало несколько томов Чехова, и что он плавал с аквалангом.

Но среди разных рассказов меня поразили два крайних мнения, высказанных людьми, хорошо знавшими его. Оба эти человека – патриоты Кубы, настоящие революционеры и наши большие друзья.

Первый сказал:

– Не спрашивайте меня о Хемингуэе. Я не хочу слышать о нем. В тяжелое для Кубы время, когда Америка порвала с нами отношения и объявила блокаду, он покинул Кубу и нигде и никогда не выступал в защиту революции, хотя уж кто-кто, а он отлично знал, что такое кубинская революция.

Второй сказал:

– Хемингуэя надо принимать таким, какой он есть. В самое тяжелое время он ни разу не выступил против кубинской революции, он был близок к нам, и мы не должны отдавать его врагам.

У каждого из них свой Хемингуэй, каждый видел в нем то, что хотел, и каждый был прав.

Церковь в Овере

Машина въезжала все глубже в это неохотное, сырое утро. За потным стеклом показывались, как бы подрагивая с озноба, заспанные поселки, ранние, подозрительно бойкие городки и тут же бесследно таяли в сером тумане. Ничего не оставалось от них – ни мыслей, ни чувств, я знал, что никогда не вспомню ни этой дороги, ни этого утра, ни того, что рассказывает мне Пьер. Я сам был сейчас вроде этого стекла, все соскальзывало мимо, а внутри было холодно и прозрачно. Прошел час, как мы выехали из Парижа. Давно уже Пьер мечтал об этой поездке, ему хотелось доставить мне удовольствие, и вот наконец он сумел вырваться, мы едем. А меня нет. Меня нет в этой машине, и я не остался в Париже, я понятия не имею, куда я потерялся. Последнее время со мной случается эта пропажа. Я вдруг обнаруживаю, что меня нет, я перестаю существовать, переселяюсь, что ли... Душа моя улетучилась, а тело восседало рядом с Пьером, нормально функционировало по всем законам биохимии.

Мы въехали в Овер, городок, прославленный тем, что здесь умер Ван Гог. Движение замедлилось: главная улица, бульвар, липы – как будто в кинобудке упало напряжение, – площадь перед мэрией, стоянка, ресторан, официанты в малиновых сюртуках накрывали столики малиново-клетчатými бумажными скатертями. Судя по физиономиям официантов, цены тут были не для таких голодранцев, как Ван Гог. Неподалеку стояла ветхая гостиница, где жил перед смертью сам Ван Гог два с лишним месяца. Он платил за номер три с половиной франка в сутки – самый дешевый номер, дешевле не бывает...

Пьер рассказывал, я слушал и заставлял себя разглядывать, потому что все-таки Ван Гог – любимый художник передовой интеллигенции, не самой передовой, потому что самая передовая уже его отлюбила и нынче любит Шагала или кого-то там еще. А поскольку я все еще любил Ван Гога, я запоминающе осматривался кругом, но внутри у меня ничего не отзывалось, и я понимал, что все это я сразу забуду. Ничего не останется – и слава богу.

Признаюсь, мне изрядно поднадоели великие художники, великие ученые, великие писатели, их изречения, их письменные столы, их зверская работоспособность, их пронумерованные письма, обнаруженные черновики, спорные места их биографии, их трогательные привычки.

Я чувствовал, что у меня наступает изжога от чужих биографий.

Последнее время я только и делал, что занимался XVIII веком и XIX веком – Василием Петровым, Яблочковым, Якоби и прочими прекрасными, замечательными людьми. А ведь была еще и моя собственная биография, моя война, блокада, тот последний бой под Кенигсбергом, разрушенные подстанции, которые мы восстанавливали, теперь даже трудно понять, как мы это сумели... Была жизнь моих сверстников. Я наспех записывал фразы, выражения, сюжеты будущих рассказов и

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru романов. Их хватило бы уже на несколько книг, а они все прибывали. Давно уже я собирался съездить в Кислицы, полустанок моего детства, в Иркутск к Леше Богуну, с которым мы придумали регулятор напряжения. А в Костроме жила Алла... Все было некогда, и я не замечал, как быстро мое прошлое тоже становится историей. Если бы я мог остановить жизнь, собственную свою жизнь – не считаясь с моей работой, она по-прежнему выкидывала номера, – и хоть как-то разобраться. Закрыться бы от всего. Свою-то биографию и то, что творилось кругом, я же знал лучше, чем жизнь Василия Петрова. На кой мне нужен этот Овер. Листки моего календаря опадали слишком быстро. Ощущение беспределности кончилось. В такое зябкое утро я чувствовал, как невелика моя оставшаяся жизнь.

– Ван Гогу нравилось это местечко, – сказал Пьер. – Здесь он лучше чувствовал фиолетовый цвет. Для него это было страшно важно. Каждый цвет волновал его больше, чем меня семейные дела.

– Прелестное местечко, – сказал я, – как хорошо, что я наконец увижу все это.

По грубо мощенной дороге мы поднялись в гору. На вершине стояла каменная церковь. Не слишком старое, скучное, серое сооружение. Сквозь голые ветки деревьев проглядывался Овер. Он лежал внизу тихий, выкрашенный сочными ваноговскими красками, только с фиолетовым было неважно, не хватало фиолетового, не учли, винно-красного сколько угодно, были какие-то белые колонны, какая-то геральдика – вот, пожалуй, и все, что я запомнил, и то благодаря Пьеру. Можно сказать, он меня просто носом тыкал во все красоты ландшафта, особенно же он старался насчет церкви. Таинственно выкатывая свои близорукие глаза, он спрашивал, узнаю ли я ее. Я понимал, что мое «нет» обрадует его. Если я кого и мог узнать в этом городишке, то меньше всего эту церковь. Судя по всему, она безвыходно простояла тут со дня постройки. Когда я пожал плечами, Пьер действительно обрадовался, как-то чересчур обрадовался. Он заставил меня обойти ее кругом, потом выбрал какую-то точку справа от входа, чтобы я видел башню и стрельчатые окна.

Возможно, эта церковь являлась каким-нибудь шедевром. Когда мне говорят, что вот это здание – шедевр, тогда начинаю видеть, что тут что-то есть, я вникаю и могу увидеть пропорции и всякие капители, контрфорсы и апсиды. Или мне надо, чтобы сказали, что это никакой не шедевр, а совсем наоборот. А если самостоятельно, можно и не угадать. Неуклюжая эта, вроде бы ничем не примечательная церковь, может, имеет такую капитель, что я сейчас ахну – лучшая в западном мире капитель, нежная и грустная капитель, которая заменит мне... и поймет меня... Я расскажу ей про ту женщину, как мы расстались, как она уходила все дальше, до сих пор я не могу понять, что же произошло. Перед отъездом сюда я узнал, что она умерла в Ташкенте. Смешно было винить себя в этом. Но что-то мучило меня, не давало покоя. Двигаясь от ее смерти назад в тот год, мне казалось, что я что-то мог остановить. Хотя что бы я ни делал, от каждого моего слова, поступка становилось лишь хуже...

– Какой это век? – на всякий случай спросил я.

Пьер поднял свои крохотные брови.

– Понятия не имею.

Я бродил по стоптанной прошлогодней траве вокруг серокаменных стен, ничем не украшенных, и с тоской ждал этой капители, чтобы наконец обрадовать Пьера.

– Неужели ты не вспоминаешь? – еще раз спросил он.

Две молодые монашки прошли мимо нас, опустив модно суженные глаза. Из города тянуло дымком, запахом свежей рыбы, местной промышленности – множество разных мелких деталей, которые так необходимы прозаику, которых было столько кругом, в деревьях, людях, в этом влажном песке, бледно синеем небе, мятых пачках «Кента».

– Церковь в Овере! – со значением произнес Пьер.

Что-то слабо шевельнулось во мне.

– Церковь в Овере! – повторил он настойчиво. – Она же висела у тебя дома. Вот

эта...

Он наслаждался моей растерянностью. Он извлек откуда-то открытку, дешевенькую открытку – репродукцию картины Ван Гога. Такая же, только большая, репродукция висела в Москве, в том доме, где мы жили несколько лет назад, она висела, кажется, над приемником. Когда мы ложились, свет лампы падал на нее, и, даже погасив свет, мы продолжали некоторое время еще видеть ее. Пока мы шептались, кобальтовые окна церкви медленно гасли, это были длинные, счастливые минуты, потом я сразу засыпал, уткнувшись в теплый угол между ее затылком и плечом, всегда с досадой оттого, что засыпаю и сон разлучает нас. Странно они сцепились в памяти – эти минуты, прикосновение ее тела, наш смех и эта картина, пластмассовый белый колпак лампы, неизвестная нам церковь; краски там были переданы лучше, чем на этой открытке, отчетливо проступали мазки, крупные, выпуклые, особенно небо – яростно синее, дрожащее от волнистых следов кисти. Сама же церковь... Но даже теперь я не мог узнать в этой церкви ту, что была на нашей картине. Я держал перед собой открытку, сличая ее с натурой.

Контуры, расположение частей, вот это окно, вход, проемы, крыша и даже трава – все сходилось. Но, во-первых, не совпадали краски. На картине окна синие, как небо, кусок крыши огненно-красный. Настоящие же окна не были такими. Крыша не была такой. И никогда не могла быть такой красной. Но не только краски – сами стены преобразились на полотне, – серый, стесанный до безразличия камень ожил, задвигался. Выпирали стропила, углы, обозначались сухожилия постройки, остов ее словно напрягся. Какая-то сила скручивала, давила, а здание противилось, упиралось в землю...

В природе ничего этого не было. Росла трава, нормальная травка-муравка, она хлестала зелеными волнами, были дорожки, те же, что и при Ван Гоге, только вместо коровьих лепешек валялись обертки жевательных резинок, сигаретный целлофан, и дорожки вовсе не растекались желтыми потоками. Не было никакой нервной дрожи в земле, и в камне. Я стоял на том самом месте, где рисовал церковь Ван Гог, и ничего такого не видел. Откуда он это взял?

...На месте той картины потом висела, кажется, тарелка или фото. Теперь не вспомнить, все реже и реже я бывал в той комнате.

Церковь качнулась, изогнулись карнизы, я ощутил усилия камня, краски вспыхнули... Нет, это было не мое собственное – на какое-то мгновение Ван Гог сдвинул окружающие меня предметы. Все заострилось, слишком яркими стали цвета, мучительная гримаса вдруг исказила сонные черты этого мира.

Окрестность вздрогнула, как от далекого подземного толчка. Эпицентр отстоял на восемьдесят лет назад.

Секрет таланта, оказывается, весьма прост. Ничего особенного. Надо лишь немного иначе увидеть мир. Ван Гог стоял на этом же месте и нарисовал эту церковь за несколько часов. Он не придумывал, не сочинял, не наворачивал никаких ужасов, он видел ее иначе, чем все мы, обыкновенные люди. Вот и все. Как будто глаз его под другим углом преломлял и рассеивал световые лучи. Он сумел встревожить скучную грудку сложенного камня, извлечь из этой церкви красоту, нервную, воспаленную, передать чувство, которое было в нем самом, окружало его, как пламя окружает фитиль.

Он жил внутри этого пламени неистовых красок и линий, наслаждаясь им нестерпимо и мучаясь им тоже нестерпимо. Даже в Овере, этой степенной, тихой провинциальной дыре, он видел все слишком: слишком клокочущим, слишком прекрасным, трагичным. За свое виденье он платил тоже слишком-слишком дорого – припадками, кошмарами, безумием. Он знал, что его душевная болезнь прогрессирует, и торопился. Нищета преследовала его, преследовала все сильнее, и от нее он бежал все туда же – в работу.

«Г-н Рей говорит, что я ем слишком мало и нерегулярно, поддерживая себя только алкоголем и кофе. Допустим, что он прав. Но бесспорно и то, что я не достиг бы той яркости желтого цвета, которой добился прошлым летом, если бы чересчур берег себя.»

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Видите, как делается яркий желтый цвет. Вот чем, оказывается, крашена эта желтая дорожка.

Поразительно, как он описывает свою картину «Ночное кафе»:

«Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посередине; четыре лимонно-желтые лампы, излучающие оранжевый и зеленый. Всюду столкновения и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого; в фигурах бродяг, заснувших в пустой печальной комнате, – фиолетового и синего. Кроваво-красный и желто-зеленый цвет бильярдного стола контрастирует, например, с нежно-зеленым цветом прилавка, на котором стоит букет роз. Белая куртка бодрствующего хозяина превращается в этом жерле ада в лимонно-желтую и светится бледно-зеленым».

Только художник может так рассказать картину.

Плата за картины была непосильна. Он расплачивался кусками своего мозга за наше наслаждение, за миллионы, которые будут давать на мировых аукционах, продавая его картины, за музеи, которые будут гордиться, обладая хотя бы одним полотном Ван Гога. За бесчисленные монографии, альбомы, репродукции, копии, за этот раздобревший на туристах Овер.

В письме, которое было при нем в день самоубийства, совсем не предсмертном, довольно обычном, деловом, неоконченном письме к брату есть фраза: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины рассудка...»

Я все смотрел на эту церковь. Господи, да если б мне понадобилось просто описать ее и все кругом, я бы слова не мог выжать. Церковь, ну каменная, ну серая, высокая... Я вспоминал некоторые картины Ван Гога – два драных башмака, плетеный стул, кусты, – казалось, ему все равно что рисовать. Я понял: важно, кто рисует. Тогда и башмаки кричат, и эта церковь будоражит душу.

Если бы мне предложили – сменяемся, махнемся? Пожертвуй чем-то, поступишь и взамен увидишь мир иным, его скрытые от всех черты, я бы не раздумывал... Согласен! Берите с меня что хотите, ничего не пожалею. И вот сейчас, когда я перед этой скучной церковью снова подумал об этом, я понял, что вру. Что значит увидеть мир по-иному? Это ведь и себя увидеть в нем иначе. На самом-то деле я боялся, избегал увидеть прежнюю свою жизнь по-иному. Наши отношения рухнули, потому что я сам убил, изуродовал их, не осталось тех минут, ничего не осталось, но долго еще тянулась какая-то мнимая жизнь. Я улыбался, она улыбалась. Как ты себя чувствуешь? Не беспокойся, нормально. Приходили гости, уходили гости. Было так мило, так весело. А завтра в кино, а послезавтра на концерт. Сколько это могло продолжаться? Не нужно об этом думать. И говорить. Не будем выяснять отношений. Давай не будем. Ну как хочешь. Я рад был, что можно прикидываться. Все время делал вид. Для кого-то. Хотел кого-то обмануть...

Пьер взял меня под руку, повел вдоль глухой стены кладбища. Сквозь нейлон куртки ко мне доходило тепло его руки. Вряд ли он догадывался о том, что творилось со мной, но неумышленный жест его был как осторожное участие, которое позволяло оставаться наедине со своими мыслями.

За калиткой в стене открылось старое кладбище, тесно уставленное мрамором, полированными надгробиями, памятниками. Сразу налево, у самой стены, лежали две темные одинаковые плиты: Винсент Ван Гог и брат его Теодор Ван Гог. Несколько свежих букетов на могиле Винсента и пучок синих маргариток на могиле Тео. Я мысленно поблагодарил того, кто положил их. Это была справедливая дань беззаветной трудной любви и самоотверженности Теодора. Мне вспомнились отчаянные многолетние усилия Теодора продать картины брата, все жертвы, которые он приносил, – я вспомнил эту историю по роману Ирвинга Стоуна «Жажда жизни», и сразу вспомнился сам Стоун, спортивный, быстрый, щедро улыбчивый, его крепкие руки на руле машины, ловко сидящий серый костюм, короткий седой ежик над молодым загорелым лицом; его дом в Лос-Анджелесе...

День был не чета нынешнему – горячий, в слепящем блеске магнолий, пальм, гигантских цветов и океана. Стоун жил в пригороде, на холмах, в наиболее уважаемом районе города. Особняки голливудских звезд и местных миллионеров

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru изощрялись друг перед другом вкусом лучших архитекторов. Сады не окружали, а как бы декольтировали дома, тут все было высшего качества: решетки, отделка, цветной камень, черные стекла, газоны и небо над каждым домом. В глубине двух-трехместных гаражей лоснились мощные «кадиллаки», «мустанги», «роллс-ройсы». Чистейший воздух благоухал от запахов лаванды и высокооктанового бензина. Асфальтовые дороги сливались и расходились по зыби холмов, и мы покачивались на них, словно листали рекламные проспекты американской показухи. Образцово-показательный поселок для инопланетных делегаций. Полюбуйтесь, господа, какой у нас на земле рай. Актриса Мери Пикфорд, писатель Рей Брэдбери. А вот и дом писателя Стоуна. В саду, это уж как положено, купальный бассейн с морской водой, просторный, выложенный голубым камнем, подсвеченный. Внутри дома в больших затененных холлах неслышно работали эр-кондишен. Мы помешивали лед в длинных стаканах, доливали виски, тоник, джин; бродили в электрической прохладе, осматривали картины и всякие подробности жизни нашего хозяина. В сущности, никаких возражений у меня не было, хорошо живут, правильно живут, так и следует жить каждому человеку в конце XX века. Пора бы. Никаких претензий лично к Стоуну я не имел. Он был работник. На полках стояли книги, написанные им, – романы о Джеке Лондоне, о Микеланджело, издания и переиздания его романов о Ван Гоге, вышедшие чуть ли не на всех языках. Дорогие, с безукоризненными репродукциями картин; массовые, дешевые, в глянцевых мягких обложках; карманные издания; подарочные издания и еще другие, менее знаменитые его романы.

Дом его примостился на краю холма, упираясь в овраг длинными металлическими колоннами, так что рабочий кабинет Стоуна нависал над обрывом. В больших окнах кабинета были только небо и высота. Это когда сидишь за столом. А если подойти к окнам, то виден был океан, холмы, укрытые зеленой овчиной, крыши – такие же разные, как и коттеджи. Перед небесным оком они охорашивались, сверкая алюминием, мрамором, гнутым стеклом, керамикой, сверху открывались стриженные лужайки, теннисные корты, цветники, синие бассейны самых причудливых форм и всякие прочие места личного пользования соседей Стоуна, таких же, как он, людей успеха. Судьба каждого являла, очевидно, пример удачи – пожалуйста, выбирайте любую стезю и не смущайтесь, талант, конечно, желателен, но это не самое главное.

Вид отсюда напоминал детскую игру «вверх-вниз». Кто-то кидал кости, и фишки продвигались. Одни вдруг взлетели на эти же холмы, другие отбрасывали вниз или пропускали ход. Их было миллионы, неудачных вариантов, доставшихся в этой лотерее всем остальным.

Угол кабинета занимало высокое сооружение, нечто вроде каталога – стойка больших металлических ящиков. В них помещалась картотека. Ящики бесшумно выдвигались, скользя на колесиках. Внутри ящиков так же бесшумно и легко скользили по направляющим планки с подвешенными папками, удобнейшее устройство, где Стоун размещал собранный материал: записи, фотокопии документов, снимки. Например, дела по Ван Гогу: история его картин, отношения с Гогеном, болезнь, финансовые дела, Ван Гог в Париже, в Арле, Гааге, сумасшедшие дома, неудачная любовь к дочери квартирной хозяйки – любой период, вся жизнь Ван Гога, все его страдания, все его страсти – полное досье. В одну минуту Ирвинг мог отыскать нужные сведения по Ван Гогу – даты, сумма долгов, краски, письма за какой угодно год. Пожалуйста:

«Я заметил, что в результате недоедания у меня пропал аппетит, когда я получил от тебя деньги, я не мог есть – не варил желудок...»

«Сейчас я очень сильно похудел, одежда моя совершенно обтрепалась и пр.»

«У меня полный упадок сил, а я еще усугубил его чрезмерным курением, которому предавался главным образом потому, что, куря, не так сильно чувствуешь пустоту в желудке.»

«Я здоров, но непременно свалюсь, если не начну лучше питаться и на несколько дней не брошу писать.»

Нет денег, чтобы нанять натурщиков. Нет денег на краски.

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
«...Если меня будут держать взаперти и не дадут мне работать, я едва ли выздоровею, кроме того, за меня придется ежемесячно платить 100 франков, а сумасшедшие иногда живут долго.»

Раздел о бедности занимал наибольшее место, куда больше, чем раздел любви или раздел критики. Стоун ездил по Франции, Голландии по следам Ван Гога, он проделал значительную работу и он имел право гордиться своей картотекой. Были там, наверное, и данные про эту церковь, кладбище, и про сам Овер, тот июльский Овер 1890 года, никому не известное местечко, по которому везли умирающего, тоже никому не известного, полусумасшедшего художника, который, опять-таки неизвестно почему, выстрелил себе в грудь. Неудачно выстрелил, всю жизнь он был неудачником, и еще промучился два дня, пока отдал богу душу.

Вместо машинки на столе стоял диктофон. Ирвинг раскладывал материалы и надиктовывал очередную главу, в соседней комнате работала секретарь, диктофон повторял текст Стоуна, она спечатавала, давала машинопись автору, он правил, она перепечатывала начисто и пересылала издателю. Ирвинг умел работать. Экономно. Четко. Не без гордости показывал он свое продуманное, так рационально организованное по последнему слову техники писательское хозяйство.

Кресло – нажать кнопку, и выдвигаются подлокотники. Специальная лампа...

Удобно, никаких черновиков, переписываний, рабочее время использовалось максимально. Разумеется, бывали срывы, все же творчество – где-то затрет, забуксует, но большей частью система работала методично, ровно скользя по направляющим, как карточки в этом завидно оборудованном кабинете.

...Маленькое белое солнце проступало на полированной могильной плите Ван Гога.

Странная, нелепая жизнь голодного художника принесла неплохие доходы. Роскошная машина Стоуна везла нас вдоль Калифорнийского побережья. Кондиционированный холодильник обдувал наши лица. На выставке, куда мы приехали, продавали великолепные альбомы Ван Гога, отдельные репродукции; и в Нью-Йорке, в Музее нового искусства, и в Париже – всюду продавали Ван Гога, веркоровские репродукции, дорогие, очень дорогие, были и совсем дешевые, в рамках и без, цветные диапозитивы, слайды, письма Ван Гога, книги о Ван Гоге, роман Стоуна.

Трагедия художника позволила построить, наверное, не одну виллу. Меньше всего можно в чем-то упрекнуть Стоуна, он написал добротную нужную книгу, он получил то, что заработал, и те, кто наживаются на Ван Гоге, их тоже, по сути, не в чем упрекнуть, никто из них не виноват в том, что при жизни Ван Гога удалось продать всего лишь одну картину. Одну-единственную из многих сотен купил какой-то чудак.

Преобывшая история, поднадоевшая, почти литературный штамп. Сколько раз она повторялась со времен Рембрандта – великий непризнанный художник помирает в нищете и безвестности, а затем картины его нарасхват, любая – целое состояние, ему воздвигают памятники, он становится гордостью нации, и судьба его служит сюжетом поучительных романов, фильмов, спектаклей, чем трагичней, тем лучше. Монтичелли, Модильяни, Филонов, Татлин... Можно подумать, что так и положено.

Недавно умер один московский биолог. Человек двадцать провожали его гроб на кладбище. Из них не больше половины представляли, кем станет для будущей науки покойный. Несколько раз я бывал у него. Он жил одиноко, в давно не ремонтируемой, тесно заставленной комнате. Раздвинув бумаги на его огромном неприбранном столе, мы устраивали чаепитие, и он, посмеиваясь, рассказывал о своей фантастической жизни. Он сидел передо мной, тощий, седенький, веселый; длинная морщинистая шея его торчала из затрепанной рубашки с отстегнутым воротничком, и я понимал, но все равно не мог свыкнуться с тем, что через несколько лет эти минуты, и то, что он рассказывает, и вся обстановка обретут историческую ценность. Никто не виноват в том, что он не был признан при жизни. Время для его идей еще не пришло. Но они уже надвигаются, эти годы. Начали обсуждать его работы, выясняют, что он имел в виду, утверждая то-то и то-то, разыскивают в архивах его заметки, кое-кто подальновидней начинает писать диссертации в развитие его идей, скоро издадут избранное, затем собрание сочинений, в учебниках появится его портрет.

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
– А вот наши с тобой жизни вряд ли кого-нибудь заинтересуют, – сказал я.

Пьер непонимающе похлопал глазами.

– И хорошо. Мы, слава богу, не великие люди.

– Не в этом дело, – сказал я со злостью. – Лет через сто выбрал бы ты для своей книги героем некоего Пьера Д. или меня? Лично мне моя жизнь была бы мало любопытна. Бесконфликтный персонаж.

Доброе рыхлое лицо Пьера покраснело. Он был честный и совсем неплохой драматург. Но он имел большую семью; чтобы заработать, ему приходилось переводить что попало, пробавляться обзорами, посредственными детективами.

Мы вышли с кладбища, спустились вниз, как бы пройдя сквозь картины «Церковь в Овере», «Вид на Овер», и другие картины, которых я не знал.

В городском саду на низком плоском пьедестале стоял памятник Ван Гогу. Казалось, тощие голенастые ноги художника ступают прямо по мокрой траве. Странно выглядела его несоразмерно вытянутая фигура – слишком длинная шея, слишком длинное лицо, слишком большие руки, худущий, напряженный, спешащий. Сдвинутая на макушку мятая шляпа, за плечами тяжелый мольберт, тренога, сбоку ящик с красками, весь он опоясан ремнями, и маленькая кисть в руке, как кинжал. Он напоминал Рыцаря Печального Образа. Брюки его и роба на голом теле были как панцирь, но панцирь, сделанный из коры. Грубо шершавая поверхность была не просто не отделана. Ее изъязвляли длинные трещины, рубцы, подобно коре старых лип. Да, это была кора. Не бронза, а кора облегла его, и ноги его в этом корье были как стволы дерева. Он рос из земли. В подстриженном, ухоженном сквере, среди уюта добропорядочных коттеджей черная высоченная костлявая фигура выглядела чужой. Изглоданный всеми земными муками, он уходил отсюда со всем своим нехитрым имуществом, что ему еще надо, «все мое со мной», спешил и никак не мог уйти.

Смерть его, как всякое самоубийство, вызвала подозрения. А может, то было убийство? Что вы, откуда, клялся Овер, никто не убивал его, он сам выстрелил себе в грудь; по этой дороге везли его на телеге, умирающего, Овер стоял на крылечках, в садиках, возмущенно шептался, шокированный скандалом. Овер еще не знал, как лихо ему предстоит торговать этим днем, какую славу он извлечет и втайне будет благодарен этому оборванцу за то, что он застрелился именно здесь, а не в каком-нибудь Арле.

– Позвольте, мосье, – оскорбленно возразил мне Овер, – почему вы обязательно ищите виновных? Кто виноват в самоубийстве джека Лондона? Стефана Цвейга, Клейста, Гаршина? Разве можно упрекать людей за то, что им не нравились картины Ван Гога? Не нравились – и они не покупали, это их право.

..А теперь им нравятся, и всюду висят репродукции Ван Гога, это признак хорошего вкуса – впрочем, сейчас куда больше в моде Клей или Сальвадор Дали, а потом еще кто-нибудь.

Когда-то и Ван Гог слыл еретиком, бунтарем, чем-то же он раздражал, но постепенно они освоили его, приспособили. Им казалось, что он украшает этот городишко, но все равно он оставался сам по себе, чужеродный и непонятный. Хотя бы тем непонятный, что всегда он был недоволен собой, все время ему надо было больше рисовать, это ему-то, который каждый день-два делал картину. Ах, да при чем тут это. Все не так. Все было неправильно. Вы понимаете, что значит после всех мучений, болезней, лишений заявить, что все было неправильно.

«Десять лет убиты на никчемные этюды, теперь, наверное, настанут лучшие времена, – это он написал за год до смерти, – но (!) предварительно я должен усовершенствоваться в фигуре и освежить свои познания, тщательно изучая Делакруа и Милле. После этого я попытаюсь разобраться с рисунками.»

И он писал это после того, как сделал за год сто пятьдесят картин, среди них лучшие свои работы, и более ста рисунков, это несмотря на припадки, болезни, заточения в больницах. И все равно – может быть, настанут лучшие времена, и то перед этим еще надо усовершенствоваться, разобраться, то есть настоящего-то еще

Неожиданное утро. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru не было... Значит, он считал, что не в силах был сделать то, что хотел, изобразить этот мир таким, как он его чувствовал.

– В этом и вся штука, – сказал мне Пьер. – Мало увидеть по-иному.

– Конечно, – подхватил я. – Ну увижу, ну обнаружу себя, других, изнутри, сверху свою жизнь... Буду недоволен, и дальше что? И не смогу. А? Не смогу передать. Ведь я о себе не привык... Нет, не смогу, и что ж тогда?

– В том-то и штука, – сухо сказал Пьер. – Нет никакого смысла. Все это недовольство и прочее в наши годы пользы не приносит.

...Я всегда утешал себя, что это подобие чувств позволяло нам с ней оставаться вместе, а если увидеть то, что на самом деле, то вдребезги, никаких иллюзий, и прости-прощай, и все, и ничего взамен. Да, попробуй написать про все это – никаких сил не хватит. Ван Гог, и тот не добился, чего хотел...

Так мы стояли перед ним в блестящих наших нейлоновых куртках, я в кожаной кепочке, Пьер в мохнатом берете, дымили сигаретками, предаваясь грустным размышлениям, недолгим и приятным.

Мы еле доставали Ван Гогу до плеча. Мелкие капли блестели на бронзовой коре его распахнутой рубы и под ней, на зеленоватом его впалом животе. Казалось, Ван Гог смотрит на нас. И вдруг я тоже увидел нас. Не он, а мы были нелепы, вместе с этим тучным Овером, шикарным рестораном в честь Ван Гога, с нашими ловкими самоутешениями.

– Давай я тебя сфотографирую, – сказал Пьер.

Ему хотелось вернуть меня в свой удобный мир без ненужных сантиментов и тягостных признаний и всяких раздумий. Ему хотелось продолжить наше путешествие, купить оверские сувениры, открытки с этим памятником, пойти на берег Уазы.

– Не стоит, – сказал я, – не нужно фотографий, я должен и так запомнить. «Неужели все это забудется? – думал я. – Господи, только бы не забыть этого чувства, этой фигуры, этого утра. Чтобы все осталось. Не дай мне забыть того, как я сейчас себя вижу, и все, что я сейчас чувствую...»

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!